

**М.В. Фирсов**  
**ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИКО-ПОНЯТИЙНЫХ**  
**ИНТЕРПРЕТАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Историко-понятийные интерпретации социальной работы в России связаны с соотношением языковых структурализаций и общественно-исторических форм практики социальной поддержки. Важным моментом в понимании оформления социальной помощи в России является осмысление динамики изменения понятийной номинации в контексте исторического реципрокного поведения.

В общественном существовании человека еще на стадии первобытной коммуны начали формироваться определенные принципы взаимодействия и защиты родового пространства. Эти принципы самоорганизации были связаны прежде всего с витальными функциями, с выживанием рода в условиях столкновения с соседями, завоевателями, природой. Формирующаяся этническая культура становилась защитным механизмом, который имел бинарную направленность: вне родового пространства и в родовое пространство. И если в н е ш н я я функция защиты была связана с его расширением (1), то в н у т р е н н я я — с защитой и поддержкой ее членов. В общности начинают складываться социогенетические механизмы, сущность которых К. Полани и Б. Малиновский раскрывают как системное единство «редистрибуция — реципрокация» (2).

Реципрокационные связи в дальнейшем вырабатывают определенные стереотипы поведения: взаимопомощь, взаимобмен дарами, услугами. Эти формы поведения усваиваются, изменяются, но обязательно передаются последующим поколениям. Со временем в исторической практике помощи и поддержки реципрокное поведение становится знаком, номинация которого зависит от исторических языковых структурализаций. Различные формы реципрокных поведенческих знаков в исторической перспективе расширяют семантический план и фиксируются во времени как «определенные тексты поведения» (3).

Нарративность этих текстов зависит от субъектов помощи. Князь, представитель церкви, мирянин, светский человек, чиновник, общество и государство в своих субъектных индивидуальностях на разных исторических этапах меняют семантический план реципрокного поведения, однако парадигматическая сторона знака остается неизменной (4) благодаря той регулярной знаковой оппозиции между субъектами и объектами помощи, которая не зависит от исторического контекста. Системная оппозиция «общность — ребенок, женщина, старики, немощные» упорядочива-

ет различное множество поведенческих социальных актов, сводит их к достаточно ограниченным «поведенческим текстуальным формам» и «социальному языку поступка». Эту особенность подметил М. Бахтин: «Социальные языки объектны, характерны, социально локализованы и ограничены» (5, с. 100). Эта истина, к сожалению, актуальна и сегодня, так как действия современных отечественных деятелей защиты и поддержки не выходят за рамки христианских милостей телесных: успокоить, утолить жажду, одеть нагого и т.д. Семантический план реципрокного поведения и поступка в одной и той же культуре не требует особого толкования и онтологического понимания. Поведенческие реципрокные тексты одинаково прочитываются на уровне не только субъект-субъектных, но и субъект-объектных отношений, не только в синхронических («здесь и теперь»), но и диахронических («там и тогда») исторических контекстах. Это первая особенность знака «реципрокного поведения».

Другая парадигмальная особенность знака «реципрокного поведения» связана с функциональной ограниченностью и вневременной постоянностью, доминантой которой является знаковая неисчерпаемость, существующая в разных исторических событийных текстах в виде социального парадокса. Социальный парадокс заключается в том, что проблемы социальной поддержки и защиты детей, женщин, людей пожилого возраста актуальны, характерны и неразрешимы ни во времени, ни в культурном мировом пространстве. Вот почему все религии мира при всех их ортодоксальных подходах к обществу, едины в одном — в милосердии к наиболее незащищенным группам сообщества. Это тот мультикультурный пункт, принцип, который является осевым в концепции религиозного мифа.

Религиозные доктрины не могут строиться на достигаемых перспективах, концепция должна быть вневременной, а социальные парадоксы — основа религиозной концепции бытия. Однако реципрокное поведение, став определенным знаком, вместе с тем становится и социальным явлением, которое осознается и зачастую даже «терминологизируется» в языке. Но если реципрокное поведение в своем семантическом плане и субъектной оппозиции остается неизменным, то языковые номинации изменяются и в грамматической форме, и в семантике. Происходит языковое движение грамматических форм и исторических смыслов.

Во временном пространстве языковые формализации заставляют нас воспринимать один и тот же текст не только по-разному, но и в контексте других смыслов. П. Рикер по этому поводу заметил, что «экзегеза приучила нас к мысли о том, что один и тот же

текст имеет несколько смыслов, что эти смыслы наслаиваются друг на друга» (6, с. 16).

Здесь мы сталкиваемся с другим парадоксом: как историческая понятийно-языковая динамика заставляет исследователя интерпретировать реципрокационные поведенческие тексты с позиций исторического предметного языка, характерного для данного времени. Поэтому необходимо обратиться к вопросу, как происходит интерпретация процесса, какие языковые закономерности характерны для того или иного отрезка времени.

Общественная поддержка и защита в начале XIX столетия в России осмысляется как целостный и самостоятельный процесс. Исторически появление термина *общественное призрение* связано с европеизацией, осмыслением реципрокного поведения в контексте западноевропейского исторического опыта. Термин заимствуется из официальных постановлений и указов XVIII в. и «внедряется» в научно-публицистическую лексику XIX в.

Одним из первых интерпретаторов данных процессов на материале отечественной истории стал А. Стог (7). В его лингвистических подходах к номинации реципрокных текстов отразились противоречия, которые наметились в церковнославянском языке XVIII в. По мнению В.В. Виноградова, основные противоречия лежали между «архаическим строем церковной речи» и «живой общественно-бытовой основой светского литературного языка» (8, с. 88). Сам термин отражает это противоречие. Церковнокнижное понятие «призрение» и светское понятие «общественное» приобретают то лексическое значение, которое потребовало уточнения данного фразеологического единства через искусственный эквивалент. Это происходит в результате того, что язык указов и постановлений сталкивается в начале века с научно-философским и научно-историческим языком. В живую ткань оформляющегося предметного языка начинают «внедрять» терминологические новообразования, которые «искусственно» создаются и присваиваются на основе семантической близости. Так, к понятию «общественное призрение» в XIX столетии добавляется семантический эквивалент, «благотворительность», с которым они сосуществуют вплоть до образования новых понятийных структурализаций.

Слово *благотворительность* впервые встречается у Н.Н. Карамзина. Однако его активное употребление в понятийном пространстве происходит в 70—90-х годах XIX столетия, когда развивается общественное призрение как вид не только социальной практики, но и научно-теоретической мысли. Причем мы замечаем, что если в официальных источниках (указы, постановления, правительственные решения) происходит однозначное раскрытие реципрок-

ного поведения как общественного призрения, то в научном языке используются его различные трактовки. Научная рефлексия, и в этом ее особенность, менее консервативна, она всегда в состоянии поиска адекватной номинации.

Соотношение «общественное признание — благотворительность» существует в виде терминологической системы, в которой можно выделить следующие понятийные модели:

- 1) терминологической однородности;
- 2) терминологического дополнения;
- 3) терминологической оппозиции.

При первой понятийной модели реципрокное социальное поведение интерпретируется только как общественное признание (при этом термин *благотворительность* не употребляется). Но намечается стремление определить понятие «благотворительность» в контексте социальных факторов. Эти подходы отражают не только синхронические языковые тенденции, но и исторические принципы рефлексии реципрокного поведения при одновременном употреблении понятийных эквивалентов.

Вторая модель, когда два понятия существуют как некое взаимодополнение, отражает специфику социальной терминологии, идентифицирующей реальные социальные связи.

Э. Бенвенист, анализируя понятие *philos* (друг, дружелюбие, дружба) в тесной связи с понятием *aidos* (уважение, жалость, сострадание), делает довольно интересные наблюдения. Мало того, что эти понятия, как правило, употребляются в семантической близости, они еще употребляются «в отношении одних и тех же лиц; оба в общем означают отношения одного и того же типа» (9, с. 223). Здесь можно только констатировать, что применительно к нашему случаю и благотворительность и общественное признание также означают отношения родственного типа, т.е. идентифицируют одну систему реципрокного поведения.

Данные принципы семантического единства при разных грамматических формах мы наблюдаем и сегодня, когда два понятия «социальное обеспечение» и «социальная работа» идентифицируют современное реципрокное поведение.

Понятие «социальное обеспечение», которое активно употребляется с 1918 г. по настоящее время, сталкивается с другим понятием, все более прочно входящим в научный и административный лексикон — «социальная работа», и здесь имеется некое сходство с языковыми процессами XVIII столетия.

Сегодня происходит усиленное проникновение западного влияния во многие сферы общественной жизни, что не может не отражаться на проникновении западной терминологии в административную,

общественно-политическую, научно-деловую и другие кластеры лексики. Реорганизация государственного управления, трансформация социальных связей приводит к необходимости интерпретации новых форм реципрокационного поведения. Семантика поступка остается прежней, но исторический контекст вносит новые формы понятийного сочетания, исторического анализа. Понятие «социальная работа» столь же искусственно привнесено в языковое пространство, как и понятие «благотворительность». Как правило, искусственные понятия не становятся словами языка. Однако понятие «социальная работа» принимается не только потому, что отражает определенные институциональные связи, не только потому, что язык «умеет» адаптировать на основе грамматических форм различные иноязычные выражения, но и потому, что понятие идентифицировало устойчивые социальные отношения, то есть на новом историческом этапе идентифицировало реципрокное поведение, характерное для всего мультикультурного пространства цивилизации.

И, наконец, третья модель выражает понятия данного ряда, где они не только встречаются как понятийные эквиваленты, но находятся в понятийно-терминологической оппозиции. Такой подход намечается тогда, когда интерпретация процесса невозможна лишь в рамках существующего времени. При диахронических подходах, говоря словами М. Бахтина, определенная «форма временного ряда» не позволяет языковым номинациям выступать в качестве эквивалентов. «Стрела времени» вынуждает видеть различные номинации реципрокного поведения. При этом используются те определения, которые входят в понятийный ряд данного времени. И тогда уже происходит противопоставление, где союз «и» имеет разделительную функцию. При диахронических подходах языковые номинации должны отражать другую социальную общественную реальность. В этом случае появляется противопоставление эквивалентов. Поэтому не случайно Е. Максимов противопоставляет благотворительность и общественное признание, которые выступают как две фазы единого процесса (10). Но это противопоставление происходит на основе формы, фонетического разделения, на основе формоположения, понятийная близость не разрушается, поскольку они определяют единое место, пространство, процесс.

Различные номинации отражают динамику процесса и его состояние, характерное для уровня понимания данного исторического времени. Все это справедливо и сегодня в подходах соотношения социального обеспечения и социальной работы, когда понятия идентифицируют разное время, разные этапы исторического реципрокного поведения.

Полифония языковых понятийных форм — характерное явление при диахронической интерпретации реципрокного поведенческого текста. Это наблюдается на материале истории поддержки и защиты нуждающихся во Франции. Знаковая предметная оппозиция здесь та же: дети, малоимущие, женщины, люди позднего возраста.

Одним из первых понятий, идентифицирующих реципрокные связи, явилось понятие *charite* (милосердие, благотворительность). Это понятие обозначало систему поддержки, характерную для средних веков. Начиная с XVIII в. утверждается другое понятие — *assistance* (содействие). Оно идентифицировало новый уровень общественных связей и отношений сообщества к малозащищенным группам населения, когда государство приходит на смену профессиональным системам поддержки. И, наконец, в XX столетии это понятие вновь меняется, сначала на *aide social* (социальная помощь), а затем на *travail social* (социальная работа).

Однако проблемы историко-понятийных интерпретаций социальной работы в России на этом не заканчиваются. Формы языкового присвоения, проблемы интерпретации тесно связаны с кодами той культуры, где происходит развитие и языковых, и реципрокных поведенческих процессов. М. Фуко считал, что они «определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми он будет иметь дело и в которых будет ориентироваться» (11, с. 33). Таким ориентиром, кодом для нас будет являться язык как «историческая память», как сохранившаяся форма архетипа поступка и поведения, а также символы реципрокного поведения, которые должны быть очень тесно связаны с социальными институтами, обычаями, важнейшими социально-производственными кодами культуры. Иными словами, архетипические тексты реципрокного поведения и языковые номинации должны на ранних этапах своего оформления совпадать по семантической структуре. Слово, таким образом, должно выступать символом и знаком повседневности, а кроме того, обобщающей и персонализирующей парадигмой, которая прежде всего отражает конкретные социальные связи, социальные институты и конкретного субъекта.

Мы не имеем языческих письменных свидетельств, поэтому будем говорить о более поздних языковых и символических формах культуры, характерных для XI—XIII веков.

Таким символическим субъектом, с которым ассоциировались символы повседневного реципрокного поведения, являлся князь. С ним, по нашему мнению, связывали «бессознательную оценку индивидуального опыта» (12, с. 627) в сфере защиты и поддержки. Если проанализировать действия русских князей, представленных

в исторических исследованиях В.Н. Татищева, Н.Н. Карамзина, В.О. Ключевского, в специальном исследовании А. Стога, то они связаны с охраной «внутреннего мира и наряда в земле» (13, с. 184), а также с помощью и защитой. И эти социальные нормы язык непосредственно фиксирует как способ, средство и «историческая память».

Корень слова *помощь* — *мочь*. Согласно этимологическому словарю М. Фасмера оно встречается во многих славянских языках, и его праславянская форма — \*мокъ от \*того «могу»; родств. гот. *mahts* «мощь, сила» (14, т. 2, с. 667). Перенос функции непосредственно на субъект действия совпадает с его характеристикой, нормами восприятия и ожидания объектов поддержки. Поэтому не случайно, что однокоренное слово не только имеет нарицательное семантическое расширение, но и фиксируется в виде имени собственного. Там же мы встречаем и характеристику субъекта, выполняющего функции защиты. Такой субъект выступает как «могучий» (*могучий* «сильный, мощный, здоровый», древнерусское *могуть* «знатный», словенское *mogótes* «властный, имущий», чешское *mohtný* «могучий, мощный». Ср. также древнерусское имя Могута, Словута — там же, с. 636).

Мы видим, как реципрокное поведение закрепляется в некий культурный стереотип и на уровне языковых номинаций. Однако стереотипизация происходит на основе индивидуализации, выделения данного процесса из серии однотипных. Это подтверждает образование имен собственных, которые служат для индивидуализации предмета.

Сотнося реципрокное поведение с деятельностью князя, видя в этом ценностное значение, язык образует существительное, семантический смысл которого выражает прямые функции «охраны и наряда». Таковым является слово *помощник*. Его семантическое значение в XI—XIII вв. имело еще и другую смысловую нагрузку, кроме той, которая присуща ему сегодня: «Помощьникъ» — не только содействующий, податель помощи, но и защитник, заступник: «Въдовицам помоштник боуди» (15, с. 1166).

Этот пример довольно показателен. Во-первых, он отражает семантическое расширение слова, которое характеризует реальные функции субъекта помощи, во-вторых, это пример той постоянной знаковой парадигмальной оппозиции, которая позволяет идентифицировать на уровне языкового поведения нормы действия по отношению к объекту помощи.

Однако слово *помощь* идентифицировало в тот период еще один круг проблем, связанных с реципрокационными нормами поведения. Консерватизм в обычаях и традициях обусловлен прежде всего тем, что в любом сообществе существуют архетипические страхи,

связанные с родовым исчезновением, принимающие сегодня формы разрушения этнической идентичности. Поэтому объединение на основе единых форм деятельности — неотъемлемая часть социального поведения в любой культуре. Этот социальный феномен опосредован в грамматических формах древнерусского существительного *помочь* «помощь, содействие»; «работа сообща на поле с угощением». Сюда же — *помочане* «крестьяне, объединившиеся для проведения полевых работ». В этимологическом словаре русского языка мы находим свидетельства, что данное слово с адекватным значением есть и во многих славянских языках (14, т. 3, с. 323). Характерно, что данное слово и данная форма социального поведения зафиксирована не только в литературе XIX в., но и в словарях XX в. (16, т. 34, с. 136).

Реципрокные связи и реципрокное поведение с XI по XIII вв. соотносятся со словами *помощь, помочи, мочь*. Именно данное понятие становится архетипом языковой и предметной номинации социальных связей поддержки и защиты, в снятой форме обязательно существует до настоящего момента, о чем мы будем говорить далее.

С XVI по XVIII в. входит в активный обиход иное понятие, идентифицирующее реципрокационные связи поддержки и защиты — «призрение». Это слово встречается в активной лексике церковно-славянского языка XI—XIII вв. Однако Словарь древнерусского языка фиксирует только глагол *призьрѣти, призрю*, обозначающий следующие действия: «посмотреть, взглянуть, оказать внимание, оказать милость, приласкать» (15, с. 1403). Слово это книжное, т.е. оно существует, но не отражает социальные реалии, социальные связи, не фиксирует реальные реципрокационные поведенческие тексты, что связано прежде всего с основами и с главным субъектом поддержки и защиты родового пространства, чем является в этот период княжеская власть, а не церковь. Данное слово появляется в другой грамматической форме в период, когда церковь становится основным субъектом помощи, когда появляются новые специфические реалии. «В процессе развития языка по своим внутренним законам возникает потребность выразить новые явления в плане содержания, что вызывает утрату одних категорий и возникновение других новых» (17, с. 10). Эта особенность — зарождение в недрах языковых структурализаций будущих форм с другим семантическим, грамматическим значением — наблюдается не только для данной группы слов.

Слово *благотворительность* имеет другие фонетические формы и семантическое значение. Его можно соотнести с однокоренными словами — наречиями *бóлого* и *бóлозе*, означающими «хорошо», прилагательным *бологое* (14, т. 1, с. 188), а также *благъ*

«приятный»; *благо* «деньги, имущество; скоть»; *благовати* «пировати»; *благъ дан* «большой праздник» (18, с. 27). Этот лексический пласт зафиксирован в XI—XIII вв., а реализован и терминологизирован лишь в конце XVIII в.

Полностью, видимо, никогда не удастся объяснить причины развития данного слова и его «превращение» в общеупотребительный термин, однако можно обнаружить определенные грамматические и семантические особенности его употребления в том или ином контексте. В этом отношении характерно понятие «социальная работа».

Вместе с тем необходимо отметить, что процесс институционализации нового понятия — процесс сложный и многовариантный. Однако на примере термина *социальная работа* можно наметить контуры механизмов институционализации понятий.

Этот термин произведен от понятия «социальный работник», предложенного Симоном Паттенем в 1900 г. В англоязычной среде он был неологизмом; несмотря на то, что авторитет М. Ричмонд, возможно, был значительно выше, ее более привычный термин *благотворитель* не прижился. Нам представляется, что это связано с тремя факторами.

Первый фактор — средовой, он связан с изменением характера деятельности «добровольных помощников», которая не носила спонтанный характер, в ней начинали формироваться более упорядоченные черты. Это хорошо просматривается на примерах работы в микросоциальной среде, благотворительных учреждениях. Появились новые нормы поведения и ценностные ориентации в деятельности «добровольных помощников». Осмысление на ряде конгрессов деятельности благотворительных сил привело к осознанию новой фазы развития добровольной помощи.

Второй важнейший фактор, вытекающий из первого, связан с изменением общественных идеологем. Необходимы были новые деятельностьсные идеологемы для эмпирической практики. В этом отношении интересна работа Э. Дюркгейма «О разделении общественного труда», во французском варианте “*De la division du travail social*”. Важнейшими положениями, послужившими в дальнейшем идеологемами для практики социальной работы, стали коллективная как интерпретационная основа объяснения индивидуальных феноменов (стратегии социальной работы в дальнейшем обозначились в одном из первых практических принципов — «среда — личность», актуальность этого подхода заключалась и в том, что она соответствовала историческим формам практики: работа в общине, благотворительных организациях, обществах); реститутивное (кооперативное) право, суть которого — за проступок следует

не санкция, а «возвращение в состояние, при котором совершена ошибка» (отказ от стигматизации, стратегии помощи в общине «добровольных помощников»), контракт (который переосмысляется в социальной работе не как сфера распределения трудовой деятельности между сторонами, а как сфера взятых на себя обязательств).

Третий фактор связан с предметной, деятельностной и институциональной неопределенностью новых идеологием, форм практики, имплицитных теоретических представлений. Потребовался неологизм, за которым стояло бы больше, чем понимание, существовавшее у носителей практики и языка. То есть возникла потребность в понятии, которое находилось бы в понятийном научном пространстве, но требовало институционального уточнения: семантического значения в системе уточнений неопределенности понятийного пространства, через реалии складывающихся новых предметных отношений и связей. В итоге был взят термин Э. Дюркгейма *travail social* (общественный труд), который преобразуется в *social work*, точнее *social worker* в эквиваленте С. Паттена. Синонимические ряды и во французском, и в английском языках позволяли создавать различные эквиваленты от «общественного труда» до «социальной работы».

Аналогичный пример переноса мы встречаем в этимологическом словаре у Макса Фасмера. Работа Ж.-Ж. Руссо “*Contract social*” («Общественный договор»), написанная в 1762 г., дала жизнь термину *социальный*, но в научную лексику он попадает из немецкого языка — *sozial* — в его семантической неопределенности и несоответственности с понятийными реалиями.

Конечно же, сыграли роль и другие факторы: идеологема «социальность» была определенным знаменем времени на рубеже XIX—XX столетий, как «экология» во всей ее многоаспектности в конце XX в. Российский философ Н. Бердяев, уловив это новое «миросозерцание» и «мироощущение», в работе «Судьба России» писал: «Ориентация жизни сделалась социальной по преимуществу, ей были подчинены все другие оценки. Все ценности были поставлены в социальную перспективу». «Социальность» применительно к благотворительной практике разрабатывалась на рубеже веков во всех странах мира. Так, на конгрессе благотворительных сил в Париже в 1900 г. предлагалось определить эту деятельность как «социальная медицина», с определением главной цели «обеспечение полной независимости личности и ее семьи, их социального здоровья». В Германии в 1902 г. Альбрехт предлагает определять данный вид практики как социальная деятельность — *Wohlfahrtspflege (soziale)* и т.п.

Данные примеры показывают, что языковая практика может существовать автономно и не только напрямую отражать реальные социальные связи (как мы видели это с «призрением» или «социальной работой»), а существовать на уровне теоретических обобщений, предположений и построений. Именно на этом уровне формируются объективные языковые условия, позволяющие адаптировать применительно к новой исторической ситуации новые грамматические конструкции, семантические значения, не противоречащие языковой системе, даже в том случае, если эти понятия привносятся искусственно.

Слово *призрение* в XVII в. обретает реальное, «мирское» существование по многим причинам. Во-первых, это понятие идентифицирует реципрокное поведение другого субъекта — Церкви, которая в тот исторический период является основным субъектом помощи. Во-вторых, оформляется его «предметная основа», слово меняет грамматическую форму, становится существительным, в-третьих, оно имеет многоуровневую систему смыслов, связанных с реальной социальной и иррациональной практикой. Призрение интерпретируется в этот период так: 1) видение, 2) благосклонное внимание, отношение, покровительство, 3) присмотр, забота, попечение, 4) удобство (19, с. 157).

Можно наблюдать, как в XVII в. происходит расширение семантического значения данного слова, где оно несет в себе нормативную и оценочную нагрузку при отображении реального социального поведения: «А ты, государь, велишь ево Девлеткирея принять в свою государскую милость... и угнешь ево держать в своем государеве милостивом призрень» или «А в добром призрении в крепости сему быти» (там же).

Из примеров видно, как церковная лексика присваивает часть официально-деловой речи, где отражаются реальные социальные связи и реципрокные отношения. Их характерной особенностью является тот факт, что субъект-субъектные отношения выстраиваются в определенной логике, где старший — «могучий» (помогающий, сильный, властный, мудрый), а младший — убогий, сирий, слабый, просящий о помощи. Можно говорить о том, что литургия обыденной жизни заставляет выстраивать такие знаковые оппозиции, при которых общественная стратификация определяется «возможностью — невозможностью» субъекта быть призреваемым или призревающим. Эта оппозиция определяет нормы существования субъекта, стереотипы его поведения, место в реципрокных связях и отношениях, позицию в фасилитарном поведении. Все это достаточно наглядно иллюстрируют деловые тексты XVII столетия.

Но научным понятием «призрение» становится только в словосочетании «общественное призрение» в результате «узаконения» официального института поддержки, защиты и контроля «приказов общественного призрения». Можно говорить о том, что данное понятие имеет конкретное историческое время и дату своего «рождения» — 7 ноября 1775 г. (7), когда в своем указе Екатерина II не только обозначила новые реципрокационные связи, но и ввела традицию, позволившую соотносить идентификацию процесса, новые социальные связи и отношения с конкретной датой и постановлением. Это справедливо и для введения в активное обращение понятий «социальное обеспечение» и «социальная работа».

Возвращаясь к термину *общественное призрение*, можно заметить, что если новая грамматическая структура, ее форма, отражала специфику социального поведения, то ее семантический план связан с архаическими традициями.

В XIX в. идет активный процесс определения «общественного призрения» и «благотворительности» как предметно-понятийных дефиниций. Причем раскрытие семантического значения осуществляется либо через адекватное понятие «благотворительность», либо «помощь», либо через процедуру взаимоопределения, т. е. те модели, которые рассматривались выше. Предлагаем как пример некоторые определения, наиболее характерные для данного времени.

#### Общественное призрение

«Призрение общественное — в отличие от частной благотворительности есть организованная система помощи — со стороны государства или общества — нуждающемуся населению» (20, т. 33, с. 443).

«Призрение общественное — может быть определено как культурная форма благотворительности» (21, т. XXV, с. 165).

#### Благотворительность

«Благотворительность — как проявление сострадания к ближнему и нравственная обязанность имущего спешить на помощь» (там же, т. IV, с. 55).

«Благотворительность как форма помощи, носит в отличие от обязательного призрения факультативный характер» (20, т. 6, с. 7).

«Благотворительность — вот слово с очень спорным значением и с очень простым смыслом. ... Чувство сострадания так просто и непосредственно, что хочется помочь даже тогда, когда страдающий не просит о помощи, даже тогда, когда помощь ему вредна или опасна...» (22, с. 1).

Этот ряд определений можно множить и множить, но основным семантическим ядром в них остается понятие «помощь».

Говоря о знаковых образованиях, о сложности их природы, К. Бюлер подчеркивал прежде всего их социальную детерминированность. «Напротив, они возникают в социуме и как таковые входят в сферу применимости методов исследования явлений социума. То, что обнаружилось, относится *prima vista* (на первый взгляд), к статистическим закономерностям, которые должны обнаруживаться во всех явлениях социума; однако следует учитывать и «моральную статику», результаты которой также весьма достойны внимания» (23, с. 14).

Какие статические закономерности мы наблюдаем в этот период?

Новым явлением в системной оппозиции реципрокного поведения стало отсутствие какого-либо конкретного субъекта помощи, т. е. субъект помощи представлен в виде ансамбля помогающих сил, деятельность которых носит полисубъектный характер. Можно сказать, что к концу XIX столетия наряду с государством в оказании помощи нуждающимся принимают участие и Церковь через систему приходов, и частные лица, и общественные организации. Полисубъектный характер помощи вызывал к жизни полифонию смыслов, понятийных определений. Не последнюю роль конечно же, играла разнообразная и разнонаправленная система помощи различным клиентам, что также способствовало расширению предметного языка и, в свою очередь, усложняло определение базовых, «указательных» дефиниций.

Таким образом расширение знака реципрокного поведения по линии субъекта помощи, связанное с реальной социальной практикой, привело к языковым подвижкам в оформляющемся предметном языке. Здесь мы сталкиваемся с интересной проблемой: где заканчиваются коллективные, исторические, реальные поведенческие тексты и где начинают оформляться «панречевые», языковые, индивидуальные понятийные структурализации, т. е. как возникает предметный язык научного знания. Это очень важный вопрос, поскольку именно в этот период, в 80—90-е гг. XIX столетия, начинает создаваться научное знание об общественной благотворительности, помощи и поддержке, когда под «общественным призрением» понимают уже не только исторический опыт общественной практики.

Русский исследователь В.И. Герье, анализируя зарубежный исторический опыт защиты и поддержки, писал: «Указанное здесь фактическое положение дела вполне соответствует целесообразной теоретической постановке и потому может содействовать выяснению правильной теории общественного призрения и разрешению входящих в эту теорию вопросов о роли в этом деле

государства, общин, частных лиц, о самом понятии общественного призрения, об обязанности или необязанности его» (24, с. 68).

Развитие теоретического знания о поддержке и помощи в историческом аспекте имеет свои тенденции не только на уровне исторической событийности, где можно выделить определенные социально-исторические условия (возникновение письменности, появление общественной потребности в знаниях, персоналии, их система взглядов и представлений и т.д.), но и на уровне определенных исторических языковых событий. Такими основными событиями, предшествующими «общественному призрению» и позволившими ему оформиться в некую предметную область познания, по нашему мнению, явились исторические языковые паттерны, исторический событийный контекст и смысловая валентность понятий общественного призрения и благотворительности как качественное состояние языковых структурализаций в конце XIX столетия.

Говоря о том, что со временем сложились определенные языковые паттерны, мы должны вновь обратиться к тому, что реципрокное текстовое поведение на протяжении тысячелетий закрепило в общественном сознании и практике определенные знаковые схемы, в виде субъект-объектной оппозиции. Исторические паттерны и исторические языковые паттерны являются неотъемлемым единством и, находясь в соподчинении, не могут существовать друг без друга.

Подчинительные исторические связи жестко детерминированы и определены на уровне субъект-объектных отношений, так же как и субъектные-объектные связи высказываний, которые строятся не на уровне социальной зависимости, а на уровне зависимости синтаксических конструкций. Опираясь понятием «субъект» в отношении исторических поведенческих текстов, мы здесь же оперируем синтаксическим понятием «подлежащее». Феноменология полисемантизма была открыта еще Аристотелем. Именно в этом смысле он вводит в научный оборот понятие «субъект» — «подлежащее». Таким образом, формирование паттернов истории и языковых конструкций происходит в тесной взаимосвязи.

Архаические исторические паттерны и языковые исторические паттерны, помимо их предметной, субъектной обусловленности, «которая всегда уже заранее живет внутри их опредмечивания» (25, с. 249), не могут не формироваться, если отсутствует повторяющийся исторический понятийный контекст.

А.Ф. Лосев утверждал: «Язык — отражение действительности, которое может быть и правильным и неправильным» (26, с. 142). Архаические поведенческие паттерны были связаны и с историческим

контекстом и с языковыми структурализациями. Совокупность определенных языковых структурализаций, образовавшаяся на основе повторяющихся, а следовательно, закрепляющихся стереотипов, постепенно преобразовывалась в определенное знание, поскольку оно связано с процессами коллективного сознания и осознания определенных связей, отношений, проблем. Именно в этом ключе необходимо понимать «отражение действительности» применительно к нашей теме. Естественно, что процесс осознания складывается в течение какого-то исторического времени, когда на уровне культурологического знака происходит вычленение и закрепление определенных социальных связей, т.е. исторического контекста. Совокупность этих контекстов, в конечном итоге, не может не отразиться и в языке, так как историческая контекстуальная совокупность есть к тому же ансамбль языковых контекстов, сгруппированных на основе единых исторических языковых паттернов. Это уже следующий этап образования предметного языка области познания.

И, наконец, последний этап связан с понятийной валентностью. Понятийная валентность, считал А.Ф. Лосев, это «способность отдельного языкового знака вступать в связь с другими знаками для образования более или менее обширных цельностей» (там же, с. 132). Когда моносубъект поддержки и защиты сменяет полисубъект поддержки и защиты, из образовавшихся понятийных языковых контекстов появляется новое историческое качество знака — валентность. Это дает возможность различным понятиям сочетаться и образовывать предметные смысловые группы, что на уровне общественной практики выражается в виде систематизированных предметных знаний. Поэтому, возвращаясь к проблемам понятийной оппозиции «общественное признание — благотворительность», мы видим, что за ними стоят более сложные проблемы. И в контексте проблем предметного языка научного знания можно говорить, что различные операционализации знаковой оппозиции свидетельствовали о существовании предметного языкового поведения, что, в свою очередь, свидетельствовало о существовании самостоятельной познавательной сферы. Однако формирование предметного языка и понятийных границ о помощи и поддержке в XX столетии претерпевает новые трансформации, когда основополагающим новым понятием, знаком реципрокного поведения, становится «социальное обеспечение». Его внедрение осуществлялось через переосмысление старых и использование архетипических смыслов, связанных с понятием «помощь».

Моносубъектный подход к оказанию помощи характеризует-ся тем, что не используется многообразие форм общественной

поддержки, которые эволюционным путем выработала общность. В связи с этим определенные типы реципрокного поведения игнорируются, при этом сужается понятийное поле и объектное восприятие нуждающихся. Но если социальное поведение не воспроизводится, то остаются языковые формы поведения, которые переосмысливаются. Причем направленность понятийной валентности осуществляется не в пределы предметного языкового пространства, а за круг ее понимания.

Предметные языковые номинации тесно смыкаются с кластерами познания социальной политики и идеологии. Так, понятие «благотворительность» в контексте нового социального поведения раскрывается как осознанные общественные интересы, где помощь выступает в качестве манипуляции угнетенными классами (27, с. 466), либо как «помощь, лицемерно оказываемая представителями господствующих классов эксплуататорского общества» (16, т. 5, с. 278). Такой подход отображает диахроническую логику восприятия процесса. Характерно, что реципрокное поведение осмысливается как «социальное обеспечение» на первых этапах адаптации этого понятия в той же понятийной оппозиции к понятию «благотворительность». И его уточнение происходит через номинацию «помощь»: «помощь деревенской бедноте», «кредитная помощь», «крестьянская взаимопомощь» (27, т. 6, с. 471). Постепенно выделяется самостоятельный вид помощи — «медицинская помощь на дому» (там же, т. 46, с. 410). Здесь уже отражаются новые исторические реалии в новой понятийной интерпретации.

Однако позднее, с 50-х годов, понятие «социальное обеспечение» находится в знаковой оппозиции к понятию «социальное страхование», с которым впоследствии они образуют понятийный знаковый стереотип. Эти понятия становятся указательными и системообразующими дефинициями, определяя границы понятийного поля и идентифицируя разные типы реципрокного поведения.

Можно отметить, что советская модель поведения «коллективного тела» вырабатывает свои понятийные тексты. Сущность новых реципрокных связей раскрывается в логике «этновосприятия» — «мы и они», получившей в данном историческом контексте номинацию «свой и чужие». В основе такого поведенческого восприятия лежит механизм отчуждения, в центре которого «социальность» выступает как фактор принадлежности к определенной группе.

Практически все первые постановления в области социальной поддержки носят сугубо политизированный характер, где важнейшее требование, предъявляемое к проблемам личности, соотносится с классовой принадлежностью, заслугами перед страной и т.д. Этот внутрореципрокный феномен поведения, когда приоритеты

поддержки и помощи осуществляются на основе корпоративной или групповой принадлежности, в истории встречался в первых христианских общинах. Там первыми помощь получали мученики за веру, благовестники, исповедники, странники, т.е. люди веры.

Возвращение к архетипическим праэтническим моделям поведения, связанным с реципрокными формами поддержки и защиты, особо ярко проявляется на материале трудовой коллективной деятельности в советский период. Этот феномен праэтнической формы поведения заметил М. Рыклин, анализируя сущность производственной деятельности в условиях новых трудовых отношений, где различные институты выполняли роль семейно-производственных конгломератов. «Работа не сводится — и далеко не сводится — в этих условиях к средству заработка, это полноценный синкретический кусок жизни людей, сфера их конечных мотиваций, по синкретизму сравниваемая с семейными и во многом их определяющая» (28, с. 62).

Отсюда не случайно воспроизводятся древнейшие способы помощи и поддержки в таких семейно-трудовых общностях, определяемые как «субботники». В своей основе они восходят к славянским видам коллективной взаимопомощи: «толокам», «ссыпкам», «помочам». То, что «субботники» — вид архаической коллективной поддержки, существовавшей еще в древнейшие времена, мы можем найти в исследованиях культуры инков. Эта форма помощи в виде трудовой повинности у них называлась «минка». Инки выполняли общественные работы, «получали еду и питье и работали под звуки музыки» (29, с. 360), это был праздник, однако прибавочный продукт шел на общественные нужды. Помимо реципрокных общинных форм, система производственных отношений воспроизводит различные подсистемы защиты и поддержки своей корпоративной общности: институты детства (ясли, сады, пионерские лагеря), институты производственного воспроизводства (санатории, дома отдыха, базы отдыха и т.д.) и другие.

Используя терминологию XIX столетия об открытой и закрытой помощи, можно говорить, что в советский период преобладают закрытые, локализованные системы помощи, где тексты общественного реципрокного поведения носили корпоративный характер. Поддержка и защита в корпорации являлась определенным ценностным знаком, который связывали не только с престижным потреблением, но и с «демонстративным потреблением», что культивировалось в общественном сознании. В этом плане происходит переосмысление реципрокного поведения, хотя по социогенетической структуре оно более архаизировано, чем предшествующие, и носит более прагматический, функциональный характер,

что выражается в языковых номинациях. Так, уже в определении социального обеспечения в 50-х годах исчезает понятие «помощь», реципрокное поведение идентифицируют с «системой государственных и общественных мероприятий» (16, т. 40, с. 197) — оно отражает мифологию коллективного сознания, а позднее с «государственной системой обеспечения и обслуживания» (30, с. 1251).

Однако с разрушением геополитического пространства СССР происходит разрушение и корпоративных производственных, синкретических связей. Общество открывает тех, кто был за кругом корпоративного видения: одиноких матерей, инвалидов, жертв репрессий и т.д. — тех, кто не был участником общественно-групповой деятельности. Помимо этого, жертвами нового молоха — рынка — становятся дети, пенсионеры, т.е. группы населения, находившиеся под патерналистским контролем государства.

В 1985—1995 гг. в России наблюдается спонтанное расширение паттернов клиентов. Процесс персонифицированной идентификации клиентов происходит не только через структуры государственной системы, но и опосредованно — через групповое, личностное видение, осознание, ощущение. Происходит расширение реципрокных связей, поскольку в обществе появились субъекты помощи, соответствующие ее объектам. Появляются группы понятий, отображающие наличие различных уровней связей, форм и видов поддержки со стороны не только государства, но и общественных групп, организаций и частных лиц. Все это, естественно, не может не фиксироваться в языковых структурах.

Условно можно сказать, что сегодня существуют три группы понятий и смыслов для номинации определенных субъектов поддержки.

Первая группа понятий характеризует понятийно-терминологические языковые структурализации государственных институтов.

Вторая связана с субъектами профессиональной помощи: социальными работниками, их паттернами деятельности и рефлексии. Она предстает в виде предметной научной области познания.

Третья группа понятий отражает негосударственные субъекты помощи, нашедшие нишу поддержки и защиты для своих клиентов. Этому субъекту соответствует своя языковая парадигма. Конечно же, выделяются названные группы достаточно условно, так как происходят языковые флуктуации от одних форм и смысловых групп к другим, не только в их синхронических, но и диахронических состояниях.

Первая группа понятий группируется вокруг базовой дефиниции «социальная защита», которая приходит на смену «социальному обеспечению», хотя это понятие не снимается, а функционирует

в составе данной группы. Разумеется, данный пласт понятий постоянно расширяется, но уже можно утверждать, что семантически он связан с дефиницией «помощь». Для данного ряда характерны следующие словосочетания: *гуманитарная помощь, материальная помощь, финансовая помощь, техническая помощь, экстремальная помощь, протезно-ортопедическая помощь* и т.д. Характерно, что появляются новые понятия, соответствующие новым типам реципрокных отношений, связанных с натуральной поддержкой от различных субъектов, находящихся вне геополитического пространства общности, а также поддержкой в ситуации природных, техногенных и прочих катастроф. Каждый вид номинаций имеет свое языковое расширение и системы языковых матриц.

Вторая группа понятий связана с тем, что в обществе появилась профессиональная деятельность, которая направлена на оказание помощи и защиту клиента при любых жизненных кризисах. Однако понятие «социальная работа» идентифицирует не только профессию, но и область познания. Поэтому языковые ряды будут иметь различное понятийное наполнение. В одном случае языковые структурализации связываются с реальной практикой, в другом — с областью смыслов, иррациональностью. Здесь показательны отечественные подходы к определению сущности понятия «социальная работа» в соотношении с понятием «социальная педагогика». Представленная оппозиция демонстрирует те языковые модели, которые характерны для понятий «общественное призрение» — «благотворительность» и «социальное обеспечение» — «благотворительность».

И, наконец, последняя группа смыслов связана с понятием «благотворительность». В общество возвращаются понятия с новыми формами и образованиями, соответствующие современному реципрокному, фасилитарному поведению. Понятие «благотворительность» идентифицирует определенную форму помощи и поддержки. Примечательно, что данное понятие как бы заново переосмысляется через устойчивые языковые паттерны: благотворительные мероприятия, благотворительные акции, благотворительные организации. Феномен благотворительности признается и государством; как форма реципрокного поведения она не только легализируется, но и оформляется законодательно в виде нового закона о благотворительности.

Таким образом, мы видим, что в процессе исторического изменения субъектов и объектов помощи происходит расширение предметных номинаций реципрокного поведения. Понятия идентифицируют исторические паттерны помощи и поддержки. В своих понятийных сочетаниях и изменениях они формируют предмет-

ную область познания, которая сегодня связывается с понятием «социальная работа», как в XIX в. связывалась с «общественным призрением» и «общественной благотворительностью». Смена понятийных номинаций отражает иное состояние познавательной области, ее иной исторический этап, иные структурные смыслы. В этой связи уместно сказать о том, что нынешнее состояние языковых номинаций не является конечным, они будут изменяться под воздействием различных факторов: исторически-событийных, языковых, предметных, понятийных.

Исходя из сказанного и отталкиваясь от концепции Э. Сепира, согласно которой язык есть область для изучения тенденций социокультурного поведения, можно говорить о динамике предметного языка социальной работы, в котором отражены различные состояния социальных факторов, механизмов, институционализирующих поведенческую историческую практику социума в предметно-языковые структурализации. Логика развития предметного языка социальной работы, а мы говорим о лексическом эквиваленте, сформированном в XX веке, привносит характерные тенденции данного века, а современные языковые формы накладываются на предшествующие, существовавшие в другой понятийной номинации.

Соотношение предметного языка «парадигмы милосердия» XI—XIII веков с языковой парадигмой «социальной работы» XX столетия в отечественной практике показывает, что процесс институционализации предметного языка связан с историческими формами поведения «человека нуждающегося». От архетипических форм, когда происходит его институционализация — идентификация с поведенческими нормированными паттернами определенных групп, в которых осуществляется сохранение образа жизни (др.-русс. семантическое значение слова *питание*), до деинституционализации «человека нуждающегося», которая выражается в праве «жить самостоятельно независимо с чувством собственного достоинства вне учреждений». Поэтому проблемы институционализации предметного языка связаны с проблемами институционализации «человека нуждающегося» в социальной работе.

Можно выделить основные тенденции институционализации «человека нуждающегося»: идентификация к групповой принадлежности на основе витальных потребностей и ценностей — к профессиональным и родовым институтам; учреждениям контроля и санкций; идентификация к тотальным учреждениям и учреждениям коллективной солидарности — на основе классовых, групповых, этнических, конфессиональных, гендерных особенностей; идентификация деинституционализации.

## Литература

1. *Ерасов Б.С.* Этническое — национальное — цивилизационное в пространстве Евразии // *Цивилизации и культуры.* М., 1995. Вып. 2.
2. *Polani K.* Primitive, Archaic and Modern Economies. N-Y, 1968; Социально-экономические отношения и соционормативная культура. М., 1986.
3. *Лотман Ю.М.* Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века / Избр. статьи. Таллинн, 1992. Т. 1.
4. *Барт Р.* Воображение знака // Избр. работы. М., 1989.
5. *Бахтин М.* Вопросы литературы и эстетики // Исследования разных лет. М., 1975.
6. *Рикер П.* Конфликт интерпретаций // Очерки о герменевтике. М., 1995.
7. *Стог А.* О общественном призрении в России. СПб., 1818.
8. *Виноградов В.В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX веков. М., 1982.
9. *Бенвенист Э.* Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
10. *Максимов Е.* Историко-статистический очерк благотворительности и общественного призрения в России. СПб., 1894.
11. *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994.
12. *Сепир Э.* Избр. труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
13. *Пресняков А.Е.* Княжое право в Древней Руси // Лекции по русской истории. Киевская Русь. М., 1993.
14. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1967-1973.
15. *Срезневский И.И.* Словарь древнерусского языка: В 4 т. М., 1985.
16. Большая советская энциклопедия: В 50 т. 2-е изд. М., 1950-1958.
17. Историческая грамматика русского языка. М., 1982.
18. *Преображенский А. Г.* Этимологический словарь русского языка. М., 1958.
19. Словарь русского языка. XI-XVIII вв. М., 1994. Вып. 19.
20. Энциклопедический словарь русского библиографического института. М., 1890-1895.
21. Энциклопедический словарь. СПб., 1890-1907.
22. *Ключевский В.* Боярская Дума Древней Руси. Добрые люди Древней Руси // Репринт. М., 1994.
23. *Бюлер К.* Теория языка. Репрезентативная функция языка. М., 1993.
24. *Герье В.* Записка об историческом развитии способов призрения в иностранных государствах и о теоретических началах правильной его постановки. СПб., 1897.
25. *Хайдеггер М.* Наука и осмысление // *Время и бытие: Статьи и выступления.* М., 1993.
26. *Лосев А.Ф.* Языковая структура. М., 1983.
27. Большая советская энциклопедия: В 50 т. 1-е изд. М., 1924-1947.
28. *Рыклин М.* Сознание и власть: советская модель // *Террорологиики.* Тарту-Москва, 1992.
29. *Галич М.* История доколумбовых цивилизаций. М., 1990.
30. Советский энциклопедический словарь. М., 1986.